



Наталья
Рубанова

Люди сверху, люди снизу

шорт-лист премии
им. Бориса Соколова

Наталья Рубанова

Люди сверху, люди снизу

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4436182
Люди сверху, люди снизу: Повести.: Время; Москва; 2008
ISBN 978-5-9691-0352-8;

Аннотация

Наталья Рубанова беспощадна: описывая «жизнь как она есть», с читателем не церемонится – ее «острые опыты» крайне неженственны, а саркастичная интонация порой обескураживает и циников. Модернистская многослойность не является самоцелью: кризис середины жизни, офисное и любовное рабство, Москва, не верящая слезам – добро пожаловать в ад! Стиль одного из самых неординарных прозаиков поколения тридцатилетних весьма самобытен, и если вы однажды «подсели» на эти тексты, то едва ли откажетесь от новой дозы фирменного их яда. Произведения Рубановой публиковались в журналах России, Финляндии и Германии; по мотивам сборника ее рассказов «Москва по понедельникам» в Великобритании поставлен спектакль «Фиолетовые глаза». Повесть «Люди сверху, люди снизу» входила в шорт-лист премии Бориса Соколова и номинировалась на премию И.П. Белкина (2004); диплом премии ЭВРИКА за книгу «Коллекция нефункциональных мужчин» (2006).

Содержание

Люди сверху, люди снизу	4
Пазл первый	4
Интермеццо	16
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Наталья Федоровна Рубанова

Люди сверху, люди снизу

Люди сверху, люди снизу текст, распадающийся на пазлы

*Люблю свиней: кошки смотрят на человека сверху вниз, собаки – снизу вверх, и только свиньи смотрят на человека как на равного.
как будто бы Уинстон Черчилль*

Пазл первый

Жила-была лапочка, звали ее Аннушка. Жила лапочка не в столице какой-никакой, а в уездном городе, близко к народу. Уездный город N соседствовал с City, однако каждый день не наездисси. Наездисси раз в две-три недели: так, во всяком случае, и делали Аннушкины родители, а было их: папо и мамо. Те с боем брали длинную зеленую электричку в шесть утра и к десяти были уже в Москве, где – в очереди за батоном сыроватой грязно-розовой колбасы с жиром – проходили их лучшие годы. Папо и мамо благоразумно становились в разные очереди. Бабульки с мумифицированными улыбочками, просящие продавщиц взвесить триста граммов «Докторской», недружелюбно косились на папо с несколькими торчащими из рюкзака батонами сырокопченой: «Приезжие...» – и корчили столичные свои губки, дотянувшие-таки до морщин. Далее был маршрут ему на запад, ей – в другую сторону: папо ехал затариваться кормом дале-боле, мамо же направлялась к универмагу «Московский», где периодически что-то выбрасывали.

СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: советский анахронизм. В 80-е гг. ушедшего века обозначал «продавать в ограниченном количестве».

Однажды мамо купила в «Московском» очень приличные югославские сапожки, красные такие – любо, братцы, любо! За Это мамо упала в очереди в обморок от недосыпа и переутомления; за То в уездном городе сверкала новомодной обувкой пару сезонов, небезуспешно вызывая чернобелую зависть БОБлуживиц, не помнящих о том, что Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидят Фазаны. Когда в субботу вечером, усталые и совершенно обалдевшие, с гудящими ногами, с надорванными руками, мамо и папо вваливались в квартиру уездного города N, Аннушка радостно встречала их, тут же, впрочем, протягивая руки к сумкам, где – ах! каких только вкусок в Москве этой нет! И конфеты «Золотой ключик», и «Мишка на Севере», и шоколадка с изображением белой балерины и черного балеруна на темно-синем фоне, и ветчина, и грудинка, и даже сыр – чудесный желтый сыр с дырками! Аннушка прижимала к груди покупки и торопилась на кухню (она целый день просидела одна-одинешенька, и это в шесть-то лет!); ей очень хотелось есть, но, по правде, кроме «Золотого ключика» и персикового болгарского сока ее мало что интересовало. Однако мамо и папо были строгими инженерами, вкалывающими на некоем закрытом предприятии с восьми до шести, а потому «Золотого ключика» Аннушке отведывать не приходилось, покамест не опрокинет она в себя порцию вчерашнего супа, приготовленного мамо без особого удовольствия.

Да-да, это, увы, не кривда! – папо и мамо ВСЕГДА вкалывали на «почтовом ящике» – закрытой коробке с пропускным режимом. В шесть утра из кухонного радио на крыльях ночи неся «Гимн Советского Союза»; мамо и папо, чертыхаясь, просыпались, с трудом продирая глаза. Время текло неумолимо – и вот, как на каторгу, вели уже Аннушку вместо д/с в очень среднюю школку – и только Гимн так же бодро гремел с кухни, и только просыпаться по утрам становилось все тяжелее.

СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: в начале XXI века слова упомянутого в тексте Гимна будут изменены; мелодия же, как и менталитет большей части Компании, останутся прежними.

На работке мамо и папо гнобили за копейки – долго и у-порно; они разговаривали с железом на его, железнном, языке – они ведь были инженерами-программерами, умными, острыми на язык инженерами-программерами с окладом 160 (М) и 140 (Ж) советских целковых эпохи застоя за одни и те же операции: в *этой стране* никогда не было дискриминации, касающейся вопросов пола. На эту зарплатку неплохо сохранившейся мамо было трудно одеваться неплохо; шитье и вязанье срослись с мамо, как вечная папироса – с папо. После шести вечера мамо бегала по магазинам – вдруг где чего выкинут, – а папо сидел с паяльником в своей «мастерской», отгороженной от любовной лодки, разбившейся о быт кооперативной хрущобы, бамбуковой шторкой с изображением дальневосточной птицы самого высокого полета.

В субботу мамо и папо отсыпались, если не ездили кататься на лыжах в ближайший пригород, где сосны, заваленные снегом, казались Аннушке спустившимися с неба облаками, а еще – сладкой ватой.

СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: далее следуют детские воспоминания героини.

Мамо и папо в спортивных костюмах, в маленьких, связанных крупной резинкой, одинаковых лыжных шапочках умели, несмотря ни на что, смеяться. Иногда это казалось Аннушке странным – она никак не могла совместить ЭТИХ вот своих родителей, которые сейчас в лесу, и ТЕХ, которые после работы или после Москвы... Летом, когда папо на маленьком, выдавшем виды голубом «Запорожце» вывозил семейство на речку, Аннушка еще больше удивлялась смеху родителей: казалось, мышцы лица, отвечающие за улыбку, вспоминали о своем существовании только на природе. Быть может, именно поэтому Аннушка так и полюбила лес – с детства, любовью взаимной и теплой.

СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: позже героиня долго не сможет читать Паустовского.

В том самом лесу, кстати, на Черной речке, и подглядела случайно Аннушка чужую нехитрую «лю»: сам акт, невольной свидетельницей которого она оказалась так неловко, отправившись за душистой голубикой, не произвел на нее особого впечатления. Впечатление произвело другое – банальность да первое осознание «чувства стадности»: неужели ВСЕ так? И родители? И бабушка с дедушкой? И тетя Женя с дядей Андреем, когда тот еще был жив? И...? И – вот ужас – и я? Неужели и я тоже когда-нибудь стану вот так лежать на шишках, больно колющих и царапающих нежную спину, содрогаясь от толчков ЧУЖОГО внутри СВОЕГО, и, закусив губу, смотреть в небо, как навесом отгороженное от земли кронами дивно пахнущих сосен?

После столь раннего просмотра порнофильма вживую Аннушка вернулась к родительской палатке грустная, и никакие расспросы не помогли: Аннушка свысока смотрела на людей, ее породивших, – без ее на то согласия, как же иначе! – и ковыряла палкой песок.

ПЕРВЫЙ ВЕРДИКТ ПОДГЛЯДЫВАЮЩЕЙ В РУКОПИСЬ СЛОМАННОЙ ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ: Автор, слабо владея Игрой, пытается представить Ното Читающему жалкую пародию на набоковские «Просвечивающие предметы»; не всегда адекватно используя специфические около– и литературные приемы, а подчас и забывая о них (особенно это станет заметно в середине текста).

– Она станет трахаться под соснами через десять лет, почти на том же самом месте, – встречается автор-мужчина. – Ей понравится это; она будет довольна.

– Ну и что, – женщине-автору не слишком приятно употребление грубого глагола, она предпочитает сагановские-панколевские «занятия любовью», – ну и что? Ведь сейчас ей восемь, не опережай события! И вообще, зачем ты вводишь в повествование этот банальный сюжет?

– Потому что больше всего Анна ненавидит банальность, и, чем больше она ее ненавидит, тем сильнее у нее шансы срастись с нею, стать воплощением рекламного ролика – конечно, в определенном возрасте и при определенном социальном статусе.

Женщина-автор отмахивается; женщина-автор всегда отмахивается, когда не видит смысла ни в чем. Женщина-автор, впрочем, давно не видит смысла ни в чем, поэтому ставит в комнату стол, на стол – компьютер, и – туда-сюда, туда-сюда – гоняет: прыгают, скачут, сбивая с мыслей, пальчики по клавише. В этот момент женщина-автор становится сама собой и не думает об авторе-мужчине, который порядком ее достал и трахнул нелитературным глаголом, призванным жечь сердца каких-то людей. Впрочем, она частично согласна – *современная русская проза* не выживет без мата; станет ненастоящей, потускнеет. Однако некое легкое трехбуквенное слово дается ей с трудом: женщина-автор не знает, не уверена, стоит ли его применять и не лучше ли без него обойтись; но ведь печатают сейчас и ТАКОЕ... Она закуривает, выражая признательность копирайту за сохранение собственных авторских прав под его знаком и, в предвкушении не поражающего воображение гонорара, из вежливости затыкается, впрочем, лишь на миг:

– Однако здравствуйте! – снова сшивает она грязные строчки жемчужными своими буквами (perle!), нанизанными на материю, из которой шьют хлопья Раскаленной-Иглой-Обожжешь-Пальцы. – Я вам рада. Я к вам пишу, чего уж теперь отнекиваться! И, хотя никто понять меня не может, а рассудок давно изнемог, предлагая молча погибнуть, я кричу громким шепотом: «Здравствуйте, господин Эй! Здравствуйте, бледи Гамильтон! Вы не помните, где оставленное вами счастье? Уж не в этой ли дырке ли от бублика?» – трясет бубликом, распугивая персонажей.

Новый абзац.

...Наша Аннушка тем временем пока ничего не знает о возрасте и социальном статусе или только догадывается об оных; не знакома птичка и с фольклором. Аннушка смотрит в голубое небо, мечтая поскорее вырасти. Зачем? Как это зачем! Какой смешной, какой глупый, прям-таки детский вопросик! Неужели надо объяснять? Ну так и быть... Она соглашается, она учится формулировать, вот прямо сейчас и учится, давайте послушаем, *устами ребенка*: «Когда я вырасту, я стану жить в Москве. У меня будет много друзей, большая квартира и какой-нибудь хороший дядя. Он меня любить будет, платья покупать красивые. И туфли, и помады. Да, а еще зонтик. Такой прозрачный, с длинной ручкой. Мы с ним по Москве гулять будем, на Красную площадь пойдем. Он мне цветы подарит и мороженое, и

мы зайдем в большой стеклянный магазин и купим чего захотим, вот, а потом у нас родится ребеночек, да, обязательно родится ребеночек, он будет маленький-маленький, хорошенький-прехорошенький, а еще будет кошка, собака и рыбки, и по утрам мы будем есть одни конфеты “Мишка на Севере”, и дядя тоже, у него будет коричневая борода и очки, он будет добрым и умным, как в ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: голос ведущего одной из популярнейших в 80-е гг. ушедшего века телеигры Вл. Ворошилова действовал на Аннушку в детстве гипнотически.

– А откуда ты, Аннушка, про Москву знаешь?

– А я по телевизору сначала видела, в программе «Время» – мне нравится, когда прогноз погоды, там музыка такая... такая, ну, в общем, красивая очень, нравится мне, и я вот думаю, раз вечером в Москве так красиво, то днем, при свете-то, наверное, еще лучше? У нас-то в городе совсем все не так, у нас по-другому. А я хочу жить красиво. Я ХОЧУ ЖИТЬ КРАСИВО, – говорит ребенок, но родители еще об этом не подозревают. – Да, мы с мамой были в Москве, да! Недавно. На Красной площади, в соборе Василия Блаженного. Я, правда, не поняла слова блаженный, а в соборе темно так было, и лестницы – высокие. У нас таких ступенек не делают уже, а еще там – посуда серебряная под стеклом и какая-то старинная одежда... Но я бы там жить не хотела, там света нет, там окошки узенькие – не протиснешься. Нет, мы с мамой уже под конец экскурсии хотели оттуда назад, *в Москву выйти* из этого собора... А потом пошли в магазин большой со стеклянными потолками – у нас в городе таких потолков в магазинах не бывает, и мороженого такого тоже не бывает, и мама мне его купила – белое-белое, с высокой шапкой, в вафельном стаканчике, а я когда все это белое съела, стаканчик пустым оказался, и я подумала, что вот так всегда: как бы вкусно ни было, всегда это вкусное заканчивается раньше, чем подумаешь... Потом мы были в зоопарке, но мама почему-то качала головой все время; а мне понравились больше всего обезьяны – чем-то на людей похожи, особенно когда рожи строят. Вылитая наша Людмила Алексевна, такая же дура. А после зоопарка мы опять в метро ехали. Я научилась ездить в метро, я теперь умею! Когда я вырасту и буду большая, я не буду бояться, как в первый раз. Надо просто опустить 5 копеек в щелочку, и автомат тебя пустит на лестницу, которая едет. Главное, чтобы ноги не попали в острые зубчики – ну, те, которые в самом начале и самом конце лестницы-чудесницы, – а потом едешь себе, по сторонам смотришь – интересно! У нас в городе таких людей не бывает...

ОТ КУТЮР. ТЕНЬ г-на НАБОКОВА: «Привет, персонаж! – Не слышит».

Писательская эрекция – дело непростое и хитрое: тысяча первый раз – про одно и то же, да только в две-тысячи-ах-уже-четвертый! – год – по-другому. «К черту композицию!» – гундят-сопят-шепчут-шелестят слова автора. К чер-ту. Все течет, как при переверстке. Все изменяется цинично-нежно в отсутствие НАСТОЯЩЕГО сюжета, где так легко могли бы быть – так возможно и так близко, как чье-то мифическое счастье, – верх-низ, добро-зло, он-она-оно-они и другие распадающиеся на пазлы элементы Великой Иллюзии. В сущности, слова автора также представляют собой личность, являющуюся не более чем скоплением идей, с которыми сочинитель – М и Ж – временно отождествляет себя. Каждая мысль сочинителя – как М, так и Ж – лишь фрагмент, мать его, изначально гермафродит-но задуманной личности, но не сочинитель в целом. Разве можно запихнуть целого гермафродита во фрагмент слов автора? Чушь какая... ОНИ купили себе немного бога; ОНИ думают, что живут, обалдевшие от трехмерности прямоходящие... А вот автор, кто бы он(а) ни был(а),

не может купить себе немного бога. У автора нет еще миллиона перерождений; у него нет даже самого автора!

Новый абзац.

В наличии имеется флэт, на флэту – тэйбл, на тэйбле – комп. За компом, вопреки закону жанра, сидит издыхающая от жары, раскрашенная под девочку женщина и собирает звуки в буквы, буквы – в слоги, слоги – в слова, слова – в предложения, а предложения – в полные и не полные абзацы, заполняющие некие книги бытия, которые впоследствии, возможно, станут продажными. Женщина, издыхающая от жары, но тем не менее пишущая текст в вялотекущее отсутствие деградации, мыслит и существует так: «Уж лучше я стану высасывать вино из любимых не-всегда-рядом-губ, чем сюжет – из всегда-рядом-пальца». С теми словами она находит то, что всегда не рядом, вместо того чтобы то, что всегда. Женщина получает огромное облегчение и уходит в себя: никакая сила не может вывести ее оттуда, да и что это за место-время-пространство такое – *Оттуда?*

– Отдайся мне! – говорит ей Там г-н Жанр, фривольно распахивая свои едва ли полные, потому как литературные, объятия. – Отдайся! Мне так нравится твоё *perle*!

Не забудем: автор в данный момент времени – Женщина, жонглирующая буквами на особой текстовой территории то от первого лица, то от третьих незаинтересованных лиц. А посему пишущая особа, вытеснив карету, тыкву и прынца в чье-то воображаемое нижнее бессознательное, отдается закону жанра легко и охотно: жемчужная Игра ей по вкусу, почему бы и не обронить на время хрустальную туфельку?

[illegible]

– «Я – голова от...»

ВОЙ СИРЕНЬ: заглушает непечатный фольклор.

– Ты чего? Что ты сказала?

– Дурак ты, пис-сатель. Иди себе.

— ...???

— «Из жалости я должен быть жесток». Это из «Гамлета», ты все забыл, писатель. Ты всю жизнь прос...

– Да как ты смеешь? Я ж, сука, член Союза, у меня пять книжек, я печатался в толстых журналах, у меня дача в Переделкине, профессор я, у меня студенты, я учу, как надо, а ты... подстилка декадентская, ты ручку-то в руках держать только вчера научилась, и как только пролезла?

– А ты вот отгадай-ка загадку из детской книжицы, пис-сатель: «Так ее устроен рот: он и колет, и сосет». Это, по-твоему, кто?

– ...?! – пис-сатель разводит руками, поправляет галстук, закатывая от негодования и возмущения рыбы глазки посредственности.

БОРМОТАНИЕ РЕДАКТОРА: много слов с ярко выраженной экспрессивной окраской. Если сочинитель допускает негативные или иронические...

– Это блоха, член Союза! – перебивает женщина-автор. – Понимаешь? Блоха, ха-ха! Не подкуешь, милок, не подкуешь теперь! Блоху подковать – тут без тонких левых не обойтись; ну, бывай, гадина старая. – Женщина-автор уходит, виляя красивыми бедрами.

ШЕПОТ РЕДАКТОРА: Б-р-р... слово «гадина» имеет в данном контексте негативный оттенок, ведь речь идет не о пресмыкающемся!

Пис-сатель чешет затылок, чувствуя себя полным дерьмом.

РЕДАКТОР, ТИХО САМ С СОБОЙ: бранное слово, его употребление в литературном языке крайне нежелательно! Может быть, заменить «дерьмо» на «экскременты»?

Это его обычное состояние, впрочем, после разговора с красивой умной Женщиной, подобно соляной кислоте, опрокинутой на ранимую мужскую душу. Душу пис-сателя.

КРИК РЕДАКТОРА: как же эта концептуальная белиберда осложняет восприятие! Да неужели нельзя без нее?! Раньше-то как писали? И – тише: богатыри – не вы... (вздыхает).

Тем временем Аннушкины мамо и папо, нечаянно, решили продолжить род. Посему через девять тягуче-нервных месяцев на Свет Серый явился черноглазый Виталька, чем безумно удивил Аннушку. Впрочем, больше всего на Свете Сером удивлял ее все же живот мамо – большой, круглый, настоящий. Тесная смежная двухкомнатная хрущоба, горбом мамо и папо заработанная кооперативность, наполнилась неслабыми младенческими криками и как-то заметно сдала в размерах: почти пена дней. Кровать Аннушкину задвинули в угол, а саму Аннушку отправили по случаю в очень среднюю школку.

Очень средняя школка, по случаю, Аннушке не то чтобы не понравилась, но и особого интереса не вызвала: скучное пятиэтажное здание грязновато-желтого цвета, серые-мы-ши-училки с букетами астр и гладиолусов, одинаковые девчонки и мальчишки в форменных платьях, жесткая неудобная парта, где, на хлопающей при вставании откидывающейся крышке можно различить любовно выписанное кем-то лет тридцать назад «Анька – дура», не закрашивающееся никакими слоями красок, и от того – еще более обидное.

АБЗАЦ, КАК БУДТО НЕ ИМЕЮЩИЙ ПРАВА НА СУЩЕСТВОВАНИЕ: пока в сюжете все просто, не так ли, Ното Читающий? Тем не менее, говорят, будто текст нужно переосмыслить, не «уценив». Конечно, женщина-автор может ввести в воображаемый воображаемым потребителем момент потные липкие ассоциации, которыми кишмя кишит пострусская дамская прозаечка для жен новых и средних. Однако здесь, снова выбрав самый неподходящий момент, появляется автор-мужчина. Он затыкает рот женщине-автору желтой прессой: «Ты должна иметь представление!..» – «Молчите, принц, ваш выход в другом эпизоде! Я, пока писала *любил*, три ошибки сделала...» Женщина-автор отмахивается от себя самой, но «умудренные опытом» советуют ей, советуют, советуют: побывать, посмотреть, послушать, попробовать... *чтобы иметь представление...* Но женщина-автор, на все треклятое бумажное время становящаяся лирической героиней, отбрасывает ненужные приставки. Она хочет: быть, смотреть, слушать, пробовать! Ей мешает дышать всего лишь чье-то инвалидное ПО! А оттого, что женщина-автор не может нивелировать его функциональ-

ность, новоиспеченной героине кажется, будто само *представление* имеет ее во все девять отверстий. Именно оно, представление, потирает свои потные ручонки и пишет *любовь* с тремя ошибками! Чье-то чужое, очень холодное *представление*, бьет выросшую Анну черной чугунной книгой по голове. Анна чудом уворачивается, но следы от побоев все же остаются, и в плаценте души – невидимой субстанции, способной испытывать не только боль – саднит. Впрочем, Анне нужно побыть одной, оставим же ее пока.

Новый абзац.

...Потекли однообразные времена года. Совсем стало не до концертов Антонио В.! Первый тусклый класс сменился следующим тусклым классом, и еще, и так далее, см. на обороте... Подружек у Аннушки было много, но поговорить особенно было не с кем; она не знала, отчего так происходит, да и не стремилась особо узнать. Книги – взрослые и не очень, умные и без претензий – компенсировали девочке с запоминающимися глазами цвета мокрого асфальта, на который расплескали светло-синюю краску, недостающее понимание. Не ропща, ходила Аннушка, как на каторгу, «на музыку», и не совсем как «на музыку» – в кружок эстрадного танца в ближайший ДК; времени на «глупости» не оставалось. Однако...

Виталька, брат, тем временем рос. Когда тому стукнуло восемь и все семейство собралось за не очень праздничным инженергровским столом с большим тортом, пронзенным восемью свечами, Аннушка вновь заглянула в телевизор, и, услышав прогноз погоды на завтра и до боли знакомую с детства музыку, поменять которую на самом телевидении не приходило никому в голову, решила, что пора.

И ПОРА пришла, неожиданно-негаданно так заявила:

– Эй, пора ехать! – крикнула ПОРА в Аннушкино провинциальное окошко, проплывая на проходящем мимо облачке.

– Куда? – удивилась Аннушка. – Да и на что?

– В Москву, дура, в Москву! – расхохоталась ПОРА и покрутила Аннушке у виска. – На бабки раскрутишься, уедешь из этой дыры. А там... – но что ТАМ, не сказала.

– Неужели навсегда? – полупечально переспросила Аннушка, обводя взглядом их с братом комнату, которую делили они столько лет.

ПОРА не ответила и исчезла, оставив в голове Аннушки, как водится, легкий дымок, да екнув в солнечном сплетении звенящей Надькой-долгожительницей.

Аннушка оканчивала очень среднюю школку; середина тусклого десятого подходила к долгожданной весне. Инженегры прочили Аннушке радикал, но в радикал Аннушке совсем не шлось (через неделю она бросит подкурсы); Аннушка хотела ИГРАТЬ. Homo Ludens как вид настолько прочно подсел на ее бессознательное, что жизни вне Тонкой Игры – сознательно – принять она уже не могла и не хотела. Еще, сама того не осознавая, мечтала Аннушка выйти из банального сценария, где каждый шаг измеряется на чашах едва подкрученных весов «можно – нужно» или «хорошо-плохо»; крошка-сын к отцу пришел... Аннушка была против таких игр, они были слишком скучны ей, а про Хейзингу она и слыхом не слыхивала. И во всем были виноваты, конечно же, книги да гормоны счастья – обыкновенные эндорфины, вырабатывавшиеся у Аннушки после редких приездов в Москву со страшной силой; бла-бла-бла...

ВТОРОЙ ВЕРДИКТ ПОДГЛЯДЫВАЮЩЕЙ В РУКОПИСЬ СЛОМАННОЙ ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ: автор, все еще слабо владеющий Игрой, снова пытается вплести ее в текстовую ткань; несколько ограничив шаблонами и штампами так называемой Литературы Великих Идей.

Новый абзац.

После мучительных препирательств со стороны рациональных, по-советски ушибленных на голову инженеров, Аннушка не убедила-таки их в том, что ПОРА.

...ты не поступишь без блата... на что ты будешь жить... у тебя же в голове ветер... ты ничего не понимаешь... да ты там пропадешь одна... совсем свихнулась... какой филфак, мало тебе нашего... и чего тебе надо... дома на всем готовом... мать пожалей... эгоистка... всегда только о себе думаешь... а мы как всю жизнь жили... дура... только через мой труп... ТЧК. Собирает вещички.

Аннушка сдала в ювелирный свое единственное золотое колечко с розовым камнем. Сдала и отцовские пивные бутылки, стоявшие полгода на тесном, загаженном голубыми балконе. Все равно не хватало. Тогда она пошла – последняя надежда! – к тетке Женьке и разрыдалась, познав впервые верхний круг ада той самой Подноготной, что в мягкой своей форме определяется как «страх». Тетке Женьке можно было довериться – та слыла «бывшей», и молодость провела в лагерях как член семьи врага народа, получив в награду от советского правительства запоздалую реабилитацию вместе с эксклюзивным букетом неизлечимых болезней. Тетка Женька, старшая сестра Аннушкиного папо, прокуривая маленькую, почти черную кухоньку вечным «Беломо-ром», пообещала помочь, причем тотчас: позволила в City, а через пятнадцать минут, возвращаясь из комнаты в кухню, уже протягивала Аннушке несколько красноватых бумажек достоинством в 10 рублей с профилем виленина, который выглядел на купюрах, пожалуй, живее живой Аннушки, побледневшей от волнения.

...СВОЮ Москву Аннушка почувствовала и полюбила сразу. ЕЕ, Аннушкина Москва, входила в нее и жила собственной, независимой жизнью от остального, не в Аннушке оставшегося, города-героя, еще не знакомого с графом де Фолтом.

УСМЕШКА РЕДАКТОРА: предложение с весьма странным согласованием!

Площадь трех вокзалов, грязная и ничтожная в вечной своей суетливости, показалась тогда Аннушке верхом совершенства; чувство глупой гордости от серьезности поступка, на который она впервые решилась, оставив инженеров в прошлой жизни, было сумасшедше-приятным и непривычно возбуждающим.

СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: на ближайших страницах будет представлено достаточно традиционное описание приезда провинциалки в столицу. Вариации на темы сюжетов такого типа можно обнаружить в европейской классической литературе начиная с эпохи Просвещения.

Аннушка перешла через дорогу; седьмой трамвай – маленький, бело-желтый – довез ее до Селезневки, во дворах которой и должна была обитать теткина знакомая. Переулок никак не хотел отыскиваться; чемодан тянул за руку, неизвестность – за душу; прохожие знали местность не лучше Аннушки и посылали ее – каждый – в противоположные стороны. В перерывах между поисками Аннушка смотрела в небо и молила какого угодно бога помочь ей никогда не уехать из Москвы в город N.

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА НА ПОЛЯХ: циничные цитатки, «озвучивающие» жизнь иногородних в больших городах, опущены здесь из соображений... (далее неразборч.).

Наконец, увидев заветное название, Аннушка поставила чемодан на землю да ткнула пальчики в домофон, увиденный впервые в жизни, а потому вызвавший чувство неловкости.

Вскоре маленькая сухонькая женщина с большой беломориной во рту открыла ей; здравствуй, тетя, Новый год!

Маленькую сухонькую женщину звали Гертруда Ивановна, и Аннушке частенько вспоминалось набившее оскомину «Не пей вина, Гертруда!». Гертруде можно было с успехом дать и сорок девять, и пятьдесят шесть – но, собственно, в возрасте ли кого-то там дело, когда такая *надоба* до этой самой Москвы, которая слезам, однако, не верит, на которую без слез, однако, не глянешь, а филфак, несмотря на всю Аннушкину к литературе любовь, чудом не вытравленную в очень средней провинциальной школке, – лишь предлог для ПОРЫ, что настала.

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА НА ПОЛЯХ: ср. с любовью Татьяны к Онегину.

Гертруда провела лучшие свои годы на нарах с теткой Женькой; Аннушка догадывалась о том, но детали узнала лишь через долгие смены зим, когда наткнулась на дневник умершей от одной из неизлечимых болезней женщины, что подарила Аннушке в тысяча девятьсот каком-то году несколько бумажек красноватого цвета, на которых профиль виленина казался живее живой Аннушки...

Гертруда поселила Аннушку в маленькой комнатухе с видом на темный двор, дала телефонный справочник, постельное белье, велела быть дома засветло да распихала с утра на консультацию. Гертруда не сказала Аннушке, что сама закончила когда-то филфак МГУ, но кое-кому позвонила.

Аннушка, исправно сдав первый экзамен, набрала номер родителей; мамо сказалась больной, отец кашлял в трубку больше, чем говорил; пришлось смириться. Гертруда же, казалось, проверяла как снег на голову свалившуюся девчонку на наличие вшей: была сурова и сдержанна. Тетка Женька периодически проявлялась в телефонной трубке, и лишь это держало Аннушку на плаву – да-да, одна эта ее фраза, так вот сентиментально: «Привет, племянница!» – а что ждать в осьмнадцать?

Аннушка едва спала ночами – читала-вычитывала, записывала, проверяла. Часто, задремав, вскакивала она с жесткой тахты, дрожа от мыслей таких: ЧТО же станет с ее прекрасной ПОРОЙ, пролетавшей на облаке и даже снизошедшей в гости, если она, Аннушка, вдруг не поступит... ЕСЛИ ОНА, АННУШКА, ВДРУГ НЕ ПОСТУПИТ... Гертруда же читала на ночь Мандельштама; впрочем, ночью – его же: бессонницы, лагерное наследство, не оставляли ее: «Я изучил науку расставанья / В простоволосых жалобах ночных...», «Ни о чем не нужно говорить, / Ничему не следует учить, / И печальна так и хороша / Темная звериная душа...».

В конце жаркого июля в корпусе гуманитарных факультетов Аннушка обнаружила удачную свою фамилию в списках зачисленных: МГУ чудом не послал ее на три умные буквы – причастна ли к тому Гертруда Ивановна, неизвестно и известно уже не будет.

Между тем... У попа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. В землю затоптал, надпись написал: «У попа была собака, он ее любил...» – На колу висит мочало, не начать ли нам сначала? – У попа была собака...

СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: печатный фольклор.

Между тем автору, кто бы он (а) ни был (а), просто необходимо побыть одному! Он заржавел от буковок, которые помнит наизусть, знает назубок – да они об него-с уже как об стенку горох, как с гуся вода, как рыба об лед! Но автора мы, тем не менее, оставить в покое не можем – он должен заполнять словами и смыслами авторские листы: иначе какой же он тогда автор и за что получит свой, не поражающий воображение, гонорар? Быть может, на это

уйдут его лучшие годы, но потом... когда... зато... Только вот жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни ему...

Новый абзац.

Анна недовольно идет по улице. Улица довольно идет по Анне, проходит сквозь ее шею, выворачивает скулы, сверлит раскаленной дрелью затылок, стискивает нечистым воздухом, на «раз» сдавливает ребра. Улица, столь любимая когда-то, шепчет нашей героине уличные свои слова, которые не печатают, но произносят в солидных издательствах солидные люди. Вскоре Анну останавливает группа из двух женщин (двое – уже группа).

– Здравствуйте!

Анна молчит. Анна возвращается домой после восьмичасовой интеллектуальной повинности в ИД: к стареющему мужу от молодого любовника, который, заметим, ее расстроил – так бывает.

ВОПРОС РЕДАКТОРА: обычно качественное прилагательное предшествует относительному. Не поменять ли те местами?

Вопрос остается без ответа: да и какой ответ дать, когда в супермодной сумке Анны греется и без того раскаленное темное пиво? Анна так обескуражена обращением к ней группы из двух женщин (двое – уже группа), что не выдавливает из себя ответного дежурного приветствия, столь привычного при интеллектуальном рабстве в ИД и других бес-подобных заведениях.

– Мы хотим пригласить вас на лекции по изучению Библии, – группа из двух женщин улыбается; на каждой из женщин – очки, у каждой под очками – глаза, с помощью которых они изучают *немного бога*.

– А у меня с этим все в порядке, – улыбается ни с того ни с сего Анна, замечая, что испытывает колоссальное облегчение, когда смотрит с Улицы – в Небо.

– С чем это, с *этим*? – не понимает группа из двух женщин, и только положение квазипроповедниц не дает им права сползти в обиду. – С чем это с *этим*?

– С Богом, с кем же еще, – смотрит Анна в сторону Бога и отходит от лекций по изучению Библии.

Впрочем, Анне еще только предстоит пережить вечер, испорченный молодым любовником. Впрочем, молодому любовнику также только предстоит пережить вечер, испорченный Анной. Два человека испортили друг другу вечер – что в том такого, впрочем, да и стоит ли говорить о подобной ерунде? В таких случаях мудрецы советуют смотреть на проблему из космоса. Где взять столько мудрецов? Где взять столько космоса?

...Но здесь снова автор-мужчина подает холерический голосок:

– Думаешь, написала что-нибудь эдакое? Нет, нет, ответь-ка уж! Неужели ты настолько глупа, что выдаешь ЭТИ сюжеты за ТЕ?

– За какие такие – ТЕ? Ничего я никому не выдаю.

– Не притворяйся. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Взятась за жизнеописание барышни-крестьянки, приехавшей Москву покорять; причем покорять не без длинных *дивных* ног. Барышня-крестьянка выросла из щенячьего возраста и теперь гундит на судьбу-злодейку за стареющего мужа, непонимающего любовника и, видите ли, за интеллектуальное рабство в ООО «ИД Чердак». О-О-О! Что нового будет в твоём, миллионы раз до тебя детально проработанном сюжете? Что ты кому хочешь доказать? Зачем ты это все пишешь? Как на духу, а? Ты бы еще «Мои университеты» переписала или «Детство Никиты»! ВСЕ УЖЕ БЫЛО, ДУРА!

– Последняя фраза – плагиат. А про *дивные* ноги я еще не успела, ты их раньше своими похотливыми мыслишками материализовал. Лучше б Сартрушки начитался, здоровее был бы, – с этими словами женщина-автор открывает кейс, вытаскивая оттуда томик Жана-Поля. – Для одного чела, видишь ли, Бегемот, *искусство есть уход от реальности*, для другого же – точно такого же чела как представителя биомассы – *способ справиться с нею*. Написанный текст не служит свободе Ното Пишущего, но всегда предполагает ее, предугадывает в чем-то большем, чем трехмерность. Догоняешь, о чем? То есть марасть бумагу или электронный документ – то же самое, что напиваться или колоться. Алкаш или вообще чел – он чего хочет? Забытья. Наркоман чего хочет? Забытья. Плюс все хотят кайфа, а он только в этом забытье и доступен. Редко, когда в реале – ну, может, в момент предоргазмический, и то не у всех. И то не всегда.

И ни одни *дивные* ноги не сравнятся с этим состоянием. Я имею сейчас в виду его более широкий смысл. В этом случае марание бумаги или электронного документа, собственно, есть наименее вредный для физического здоровья процесс – забытье через буквы. Второй вид творчества – намерение (намерение, а не жалкая попытка!) решить проблему с помощью какого-никакого искусства. Это более классная штука – как рыбку съесть, так и на хрен сесть: два чуда в одном быстрорастворимом порошке жанра.

ВОПРОС РЕДАКТОРА: прилагательное «классная» и наречие «более» плохо сочетаются друг с другом. Не опустить ли наречие?

– Здесь тебе и забытье, и мораль в конце – то есть ты, ну, как бы и кайф ловишь от того, что пишешь, так и решение какое-то принимаешь, не аксиомку выводешь, так теоремку. Или не выводешь, но подразумеваешь. Я раньше все хотела побыстрее до конца своих историй добраться – докопаться, зачем сама все это из мозгов выблевала.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: в предложении использована разговорная форма «побыстрее» и грубая форма «выблевала».

Теперь – нет; теперь важен не столько результат, сколько сам процесс написания: люблю я, когда лист от букв чернит, люблю, когда они в слова собираются, когда мысли выюжатся, дерутся друг с другом – причем сразу в двух реальностях (голова, бумага). Не так важно уже, о чем, понимаешь? Главное – как; форма победила фабулу, видишь ли... На время. А иногда я думаю, что, даже если у меня вообще абортируются сюжеты, я буду делать одни красивые формы. И это будет Путь Кайфа, путь чистого – хоть и испачканного – Искусства.

ОТ КУТЮР. ТЕНЬ г-на НАБОКОВА: «Привет, персонаж... (на этот раз уже не так громко)».

– Ах, эти *дивные, дивные* ножки! – замечает автор-мужчина и, неудовлетворенный, идет сублимироваться к письменному столу. Его жена уже месяц не дает ему: ни-че-го, кроме зе-ле-но-го ча-я.

Новый абзац.

Аннушка цеплялась за горьковатый московский воздух, цеплялась за подножку трамвая, цеплялась, цеплялась, цеплялась... Ей было всего восемнадцать, Аннушке, а в восемнадцать, когда еще только-только в Москве, обязательно следует за что-то цепляться, цепляться, цепляться, дабы не слишком сильно стукнуться при неизбежном падении и не

неизбежном подъеме (так говорят Аннушке новые «подруги», многие из которых не понаслышке знают именно о неизбежном падении и не неизбежном подъеме). Тем не менее Аннушка знать пока не знает ни о каких взлетах и падениях, поэтому наслаждается ровностью звучания города и теми его нюансами, которые, будто томные сирены, ласкают провинциальный слух, дорвавшийся от отчаяния до столицы.

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА НА ПОЛЯХ: «дорвавшийся от отчаяния до столицы» – просторечное выражение, не свойственное (далее неразборч.).

Аннушкины московские впечатления хаотичны и безнадежно безденежны. Ее взгляд притягивают в основном театральные кассы и различные галереи, где современное искусство продается на развес и в розлив. Иногда она заходит в большие центральные магазины, напоминающие музеи, и тихо ошалеваает после провинции, где в конце восьмидесятых – начале девяностых прошлого уже века ничего подобного и в помине не было. Аннушка любит красивые часики, стоящими дороже, чем ее жизнь, любит тончайшими тканями, любит флакончиками с буржуйской парфюмерией, любит шикарными альбомами по искусству, которые не сможет купить в ближайшие несколько лет, любит панорамой Кремля, любит, любит, любит... Но, что уже хорошо само по себе, она не платит налога на воздух.

Аннушка изучает Москву сначала при помощи трамваев: просто садится и едет, а потом с удивлением замечает, что была уже там-то и там-то, и что от Пушкинской к Охотному ведет множество дорожек: «Направо пойдешь, прямо или налево?» – «Налево», – отвечает Аннушке ее внутренний голос, и поздней осенью первого курса она расстается с невинностью как с устаревшим словом.

Аннушка кружит, летает, парит над Москвой – наконец-то, вот, она в СВОЕМ городе – как нефть в воде, как русалка мимо проруби, как концептуальная селедка в чернильнице: новая бриллиантовая студенточка, дешевая рабочая сила, бесправная тварь, иногородняя общаговская дырка, повод для разговоров в общественном транспорте, эстетка, читающая в метро Набокова и Надсона; что дальше?

А дальше – как в сказке: чем дальше, тем страшнее: Аннушка съезжает от любезно приютившей ее Гертруды Ивановны в общагу, потому как жить с Гертрудой Ивановной ох как непросто. Гертруда Иванна встает рано-рано и сразу начинает шуршать в кухне, а шуршит она, пока Аннушкин мудильник не прозвонит. В кухне у Гертруды Ивановны все на своих местах расставлено, а Аннушка все эти места забывает; в жизненные планы Аннушки не входит поддержание порядка на чужой кухне. К тому же Гертруда Иванна просит Аннушку засветло возвращаться, вот странная! Аннушка уже невинности-то лишилась – неувязочка номер сто один. Поблагодарив женщину, оттрубившую в лагере свои лучшие годы, Аннушка съехала в общагу.

Интермеццо

*Сальто-морале куда опаснее, чем сальто-мортале.
Ежи Лец*

ОНО было никаким и длинным, грязно-мутно-с ер ого цвета, около десяти этажей от роду. К ОНО вела долгая дорога бежавших в Московию.

ПЕРВЫЙ СУФЛЕР КОРРЕКТОРА, ОТОДВИГАЯ РУКОПИСЬ: нет существительного, согласующегося с причастием «бежавших».

ОНО стояло великим памятником соцреализму, социализму, тоталитаризму и проч. ОНО смотрело на мир десятками непромытых или прикрытых тряпьем окон, заклеивающихся на зиму – и наоборот – по весне.

Напоминая тюрьму или казарму, ОНО все же считалось жилой площадью. И прав был гр. Булгаков, писавший в свое время, будто *москвичей испортил квартирный вопрос*. Впрочем, не только москвичей: гостей столицы тот тоже здорово у.е.-л. Но припевочкам до сих пор снится полет Ритки! И кажется им, будто летят вместо нее – они, стопудово: летят в конце ХХ, а не в первой трети, и всё тут. Так вот: кружат они себе, кружат по небу, только вот не голыми ведьмами на метлах, направленных к Лысой, и не на ковре-самокате, а на лайнере, и красавицами. Короче, парят они, бла-бла-бла, легко посверкивая колечками с изумрудами (бриллиантами, яхонтами – кто что любит) к своему, как всегда, вычитанному в страшных сказках Кому-то, кто подарит им небеса из голубых норок, солнце из платины да траву из малахитов.

ВТОРОЙ СУФЛЕР КОРРЕКТОРА, КАЧАЯ ГОЛОВОЙ: слишком длинные предложения для грамматического разбора. Скорее всего, они трудны для восприятия. Разбейте их на несколько более коротких. К тому же все эти нелепые вставки осложняют чтение основного текста. Не лучше ли их убрать?

Кажется, ОНО приручило их к этому, хотя, собственно, и не в припевочках дело: уж сколько о них бумаги поизмарали пис-сатели! – и даже «Девочки любили иностранцев» было уже сказано, и не хочется чернухи.

И все же... вот ОНО, человеке, чуешь? Десятиэтажное, с мутными коридорами болотного цвета, с грязными лестницами и паутиной в душе и в душе; а с потолка капает, капает, капает, и все время падают на пол мыльницы, потому как нет подставочек для них возле крана, и те снова падают, и опять – так смачно и хрупко, почти нежно, – раздастся юный девичий мат; но руки мыльницу поднимают, и – все ухмыляется из года в год круговоротом биомассы в nature. Еще для душа типична очередь; у кабинок нет дверей и очень жарко, поэтому по коридору идут чаще всего в одних халатиках – длинных и не очень, а то и малюсеньких, и даже без трусиков, потому как надеть их через только что вымытые розовые ноги невозможно – ах, ах, как жарко, и Германа все нет...

В ОНО также присутствует туалет – не типа люкс-клозета «М» и «Ж», – но грязный, ободранный и грубый, как крестьянская пятка. Припевочки сносили и его, и ходили – для сохранения эфемерной, никем не виданной в России конфуцианской середины, – чистые, румяные и, большей частью, веселые. Особенно они бывали веселы, когда удавалось *схватить* (их словечко) чего-нибудь: похавать-то они любили, когда было что. Организованной толпой или поодиночке, шли барышни-крестьянки на кухню, что с не закрывающимися,

вечно текущими кранами и большими разномастными тараканами. Барышни-крестьянки жарили картошку (а «фри» здесь как бы не предполагалось), варили картошку, но сначала чистили – опять же – ее, родимую, а потом закидывали в кастрюльку «Ставриду в масле» или «Лосося дальневосточного», крошили мелко-мелко лук (о, искромсанные ножом пальцы!), добавляли майонез («могучая кучка»), и чудилось им под вечер после всей этой одурительной жратвы, будто жизнь прекрасна и удивительна, хоть этот мир и придуман по недосмотру не ими.

ТРЕТИЙ СУФЛЕР КОРРЕКТОРА, В ВОЗМУЩЕНИИ: опять предложение перегружено знаками препинания! Неужели нельзя разбить его на два? К тому же снова бранные, или близкие к ним, слова... В таком виде этот текст не может быть напечатан! Да неужели вы не понимаете?!

И вот, уже сверкая чисто вымытыми розовыми пятками, уходили припевочки в Город искать свое единственное-не-повторимое счастье, не надеясь, впрочем, на чересчур – через что? – сказочного принца с алыми парусами. Они уже стали проще и слегка прищемили хвост. Но после четвертой пива верили все же в белого коня, сладкозвучно чокаясь с кем-то, а потом ходили к всевозможным врачам. После пили горькую, но не плакали: они вообще редко плакали, эти припевочки, – этому их научило ОНО.

ОНО тюрьмой, конечно, не было. Однако стадное чувство, развиваемое гнилыми стенами, присутствовало, и припевочки становились похожими одна на другую – не буквально, нет! – все они были такие милые и замечательные! Тем не менее все без исключения хотели земляничных полей, собственных квадратных метров и денег; исключения из правил, мечтавшие купить на эти деньги много-много свободного времени, спивались, правда, без какой-то особой периодичности.

Хотя, что плохого в земляничных полях, квадратных метрах и деньгах? Ничего, да неоригинально. Вот если бы (варианты – голубая лагуна, домик у океана, дуб у лукоморья). Не оригинальничали особо, разговаривая часто примерно так:

- Как дела?
- Как в Дании: отлюбил – и до свидания.
- А что «Москва – Воронеж»?
- «Москва – Воронеж» – хрен догонишь.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: видеоизмененный, а потому – печатный – фольклор.

Припевочки надевали шубы (дубленки, пальто, платья, шорты, купальники) и шли из ОНО: куда-то, зачем-то, без цели, без смысла и средств к красивой жизни, которую им отчего-то запретили. Они напоминали очень отдаленно Дженни Герхардт; впрочем, припевочки не сильно запаривались на Драйзера... Не-и красивые аутентичные дуры, приехавшие в Московию, почти сразу и обломавшиеся, частично опошлившиеся и обнаглевшие, но не потерявшие еще природной, какой-то особой провинциальной наивной теплоты по пьяни, когда заполночь «за жизнь» идет на ура, и все на «раз-и» друг друга понимают:

- Марусь, а чем отличается менуэт от минета?
- В менуэте всегда на «раз-два-три», «раз-два-три», а нам с тобой всегда на «раз-два», «раз-два»...

АНОНИМ: сказка, подслушанная на ночь.

ОНО не только, впрочем, что-то разлагало, на что-то давило, мешая развитию, но и порождало странную способность сопротивления среде обитания у барышень-кре-стьянок, не слишком стремящихся к ежедневному выживанию в постоянном дерьме: однако надо было и существовать, покуда обходишься без крема от морщин!

ЧЕТВЕРТЫЙ СУФЛЕР КОРРЕКТОРА, СВОДЯ БРОВИ: м-да... очередной текст «с претензией на интеллект», смешанный с чернухой? Что вот теперь с ним делать, а? Печатать – страшно, выбросить – жалко... Но и лежать так просто он уже не может!

...По кухне бродила черная кошка Варька, довольно долго сохранявшаяся как вид; блудили там же и два зверя кошачьей ветви со странными именами Доминантсептаккорд и Кун-нилингус: история теряет их следы во времени и пространстве с того самого момента, когда в ОНО была вытравлена вся живность за исключением студентов (а всеобщий любимец, наглый толстый Ёшшкин-Kott тоже сдох, вызвав тем самым всамделишные Аннушкины слезы: тогда она впервые поня-ла, что не нужно: ни к зверю, ни к человеку, ни к жилищу). Вскоре после этих событий в ОНО прокатился слух о неладном: на третьем этаже – чесотка. Говорили, будто стоит мыть руки перед едой, а если заболеешь, мазаться специальной белой мазью или вонючей эмульсией да проглаживать каждый день белье. «Мрачно!» – говорили про ОНО в ту дивную пору. Девочки мыли полы с хлоркой, чтобы не заболеть – и не заболели, но на измену сели.

ПЯТЫЙ СУФЛЕР КОРРЕКТОРА, ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО: снова жаргон. Вычеркнуть.

Иногда в ОНО, конечно, бывало и недурно – ночные посиделки с бутылочкой и кучей народу или, там, болтливые дневные залегания на кроватях, когда – музыка, вино, а на уровне улыбчивых глаз – еще чьи-то улыбчивые глаза, и – лень! лень! Беспредельная поздняя лень, репетиция необратимой и освобождающей смерти как процесса распада любого живого организма!

И сколь же прекрасным оказывалось уходить из ежедневно распадающегося на пазлы питания ОНО в Московию! – гулять по Тверской-Ямской да по Герцена, по Таганской и по Аргуновской! Да даже по Красной площади приятно – ле-ли, ле-ли Лель!

А из нашего окна
Свалка с мусором видна.
На четвертом чудо-девка:
Четверым вчера дала.

ШЕСТОЙ СУФЛЕР КОРРЕКТОРА, КАЧАЯ ГОЛОВОЙ:

городской фольклор. Наверное, можно оставить! – стучит карандашиком по рукописи. – А в целом неплохо, иногда попадают целые куски, которые... – умолкает и снова стучит карандашиком по рукописи.

...Кое-кто из «чуд», выбирая самую неподходящую погоду (снег, дождь; дождь со снегом, без зонта...), со счастливым, одуревшим от обманного блаженства лицом, шел от Кузнецкого до Динамо, сбившись с кольца, или от Калининского до Китай-города – пешкарусом; ой, дид Ладо... И расплывался лик грешной «чуды» в улыбке, и «Очаковское специальное» проскакивало за три минуты – и становилось тепло и уютно, боже ж мой, как уютно и тепло становилось, как хорошо, как...

Святой боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас, Святой боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас, Святой боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй...

СЕДЬМОЙ СУФЛЕР КОРРЕКТОРА, ВСТАВАЯ ИЗ-ЗА СТОЛА: как вообще это будут редактировать?!

...ле-ли, ле-ли Лель!

О, как великолепно были они в своем провинциальном наиве! Какие горы золотые чудились им! Но годы-то шли, а ничего не менялось – и не в «личном» даже дело, мужик-то всегда имелся или был потенциально возможен, – а вообще – как-то так ничего не менялось. Если же и происходило что-то, то с впадением в крайность и отрицательные числа.

...Часто, в сердцах, билась посуда. Ревнивый юноша прыгал со второго этажа, видя, как его будущая жена изменяет ему у него на глазах. Приходили заморские гости, пели свои песни, кивали участливо, смотрели собачьими глазами да убирались восвояси, упоминая при случае экзотику ОНО. Припевочки же лупили друг друга по личикам, и после этого на их щеках нежно подрагивали, аленькими цветочками горели яркие пятна. Одна припевочка говорила о небезопасности коитуса в прямую кишку без вазелина; другая любила другую; третья стирала черные тонкие колготки; тридцать первая никогда не читала «Горе от ума» – и действительно, от него утро добрым не бывает... *У тебя не так?*

А однажды, на Тверской, приняли припевочек за шлюх, и почти вежливо, если бы не бестактно, попросили «не работать на чужом месте».

ВОСЬМОЙ СУФЛЕР КОРРЕКТОРА ТЕРЕБИТ КОНЧИК НОСА: слова «на» и «Тверской» не согласуются с остальными. Да и вообще, – раздражается он, – предложение не согласовано! К тому же постоянное нарочитое использование жаргонных слов... Кто все это написал, в конце концов? По какому праву?

Да, собственно, все эти припевочки практически всегда возвращались в ОНО, садистски-радостно скрипевшее совковыми кроватями при их появлении. В общем-то ОНО было не самым плохим в Московии, – есть, говорят, и хуже, да только нет конца чудесам его!!

...Как прекрасно ОНО в своем насмешливом порыве черного гимора, как разудало мчится ОНО с пьяной песней, с чудной тройкой – по льду – птеродактилем! Как сладкозвучны его речи, тягучи его губы! Редкая книга, выброшенная из окна его, не долетит до середины Москвы-реки! И «...как в этом случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добыть этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире, вот я и решил...»

ДЕВЯТЫЙ СУФЛЕР КОРРЕКТОРА ПОМЕЧАЕТ ЦИТАТУ ТАК: из письма Н. Гоголя матери Марии Ивановне, 30 апреля 1829, С.-Петербург.

ОНО – рядом, ОНО – моральный урод, канибал без консервантов, а еще – живое. Маленькое чудище с заплаканными конъюнктивитными глазами. Чудище никто не любит: это как олигофрена усыновить. Но вот, откуда ни возьмись, берется непонятная такая российская жалость к: убогим, юродивым, сирым и калекам, нищим и идиотам, даунам и замерзшим в снегу ребятишкам, кои плохо кушали и у коих не было папы и мамы...

ТЫСЯЧА ПЕРВЫЙ СУФЛЕР РАЗВОДИТ РУКАМИ: помилуйте! слова «идиот» и «даун» принадлежат к экспрессивным, если не употребляются как медицинские термины...

А девочка ехала в трамвае. Неделя валяния пластом на койке в ОНО привела к частичному озверению: холодный пот, разбившаяся (во сне, фрейдизм) белая чашка с рыбками, боль в самых неприличных местах, температура 38 и 5, люди, пачкающие воздух, попса, обогреватель, забирающий кислород, бардак, духота, жоп-па-па...

САМ: молчит-с.

На то, чтобы напрячь определенную группу мышц и встать, сил не было, но оставаться в ОНО оказывалось еще невозможнее. Р-р-р-р-раздражало: стол, стул (сломанный), зеркало, шторы, голоса, звуки.

...Сбежать, но недалеко. И вот девочка уже едет в трамвае номер seventeen – и что же она видит? А видит она новый абзац.

...Пахло весной; грачи же, проигнорировав Саврасова, задержались. Снег растаял, а грязный асфальт топорщился и важничал – наконец-то он стал всем заметен!

УСМЕШКА РЕДАКТОРА: предложение «Снег растаял, а грязный асфальт топорщился и важничал – наконец-то он стал всем заметен!» – очень слабое подражание андерсеновскому стилю.

Всего лишь ремонтировали дорогу. На поверхность, будто трупы из могил, вынуты были сонные макрокосмические трубы, издали напоминающие коров, везомых к мясозаводу (коровы плакали, уносясь в неприкрытом кузове грузовика, да-с, граф).

...Много заборов, гаражей, строек. Московия не всегда дарила центральные улицы, не всегда прикидывалась Арбатом или Крымским валом. Дома тянулись серые и одинаковые – вечный памятник породившей девочку брежневской эпошке; казалось, это уже и не Московия вовсе... Но пусть пока лучше так, пока пусть так, «а если *так* будет всегда – ОНО и ацентральность с бегом на месте для укрепления мышц головы и беспричинной тратой ккал – пошла она на́, эта Московия», – думала девочка, выходящая из кабинета венеролога.

Купив бананов и сев в семнадцатый трамвай, страдальца проехала несколько остановок. Вдруг движение притормозилось; слышно было, как щелкают сзади семечки 16-летние кобеляночки; слышен был интеллектуальный кашель дамы в мехах, по недомыслию оказавшейся не в машине, слышна была и ее приторная «Dolce vita». Через пять минут ведущая трамвай произнесла задушевно и таинственно: «Товарищи, там человека сбили, это надолго!»

Девочка задержала в воздухе поднесенный было ко рту банан и сошла на землю...

* * *

– Ты ведь хочешь себя обессмертить, да? Хочешь ведь? – Хочу, да, а кто ж не хочет? Брось камень, чудовище! Вот Белла Арто себя обессмертила – теперь попробуй, без наследников, процитируй где-нибудь в тексте «Ударяли хрюшку об пол...» – с потрохами съедят! Или какой-ни-будь Пийанки... – Не обязательно. Знаешь, продается сейчас одна поэтесска – типа, для человечьих детенышей пишет; кликается дама Гэ Бочковой. Так она, по ходу, тоже бессмертия жаждет. Ну, еще славы прижизненной; зачем после смерти-то? Оно, конечно, и после смерти неплохо, может, еще даже лучше, чем при жизни, только... чел – он ведь чел и есть: станет если только жрать, размножаться да за копейку гнобить, о нем никакой памяти в реале не кликнется! Он после разложения на элементы выброшенной на свалку дешевой рабсилой никому не вспомнится; ариведерчи, мозговая плоть потомков! А вот г-жа Бочкова, если, к примеру, кони двинет, то стишки свои человечьим детенышам *про запас* оставит, и

этими самыми стишками этим самым еще не спроектированным детенышам мозги канифолить станут. – Да знаю я, знаю, – женщина-автор спорит сама с собой; женщине-автору туго приходится, когда она думает на предмет бессмертия; она будто сдает анализ мочи на предмет нежелательного залета. Она намерена совместить крепленую прозу с духовной практикой в своем воплощении; она почти уверена, что это невозможно, и все же...

ТРЕТИЙ ВЕРДИКТ ПОДГЛЯДЫВАЮЩЕЙ ЗА СЮЖЕТОМ СЛОМАННОЙ ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ: далее следует описание некоего эстетического переживания. Но, в сущности, все мазурки давно написал Шопен...

Вчера ей снился Лотос с тысячью лепестками. Он выросал прямо у нее на глазах из банальной грязи. Когда же лучи утреннего солнца коснулись тысячи лепестков, тот раскрылся; Лотос был действительно прекрасен в своей первозданное™. Еще более хорош был Лотос тем, что грязь, из которой он вышел, нисколько его не задела. Внезапно на цветок упала капля воды, и тот сомкнул чудесные лепестки до захода солнца.

– УПОДОБЬСЯ ЛОТОСУ В ВОДЕ: УЙДИ В СЕБЯ, ЕСЛИ ТЕБЯ ЗАДЕНЕТ ВНЕШНЕЕ, – прочитала Женщина незнакомые письма, с неожиданностью осознав их.

Во сне она совершенно забыла, что являет собой «слова автора»...

Новый абзац.

Аннушка поселилась в общежитии; поселение это не доставило ей, впрочем, ничего, кроме усталых чемоданами рук да необычного, не сразу приятного, но в то же время «цепляющего» состояния взрослости. Она не смогла бы точно передать его – *неприятное* – словами. Пожалуй, из «цепляющего» большим плюсом была хоть и ограниченная социальным статусом, но все же свобода, а из противоположного – все тот же Совок Имя Существительное, только чуть более столичный, но все же именно он: ед. ч., м. р., отягощенный разномастными девицами, из последних гормонально-аутентичных сил приехавших «покорять» Москву, флегматично-надменно плевавшую на них с большой колокольни не без оснований на то.

Факультет, что и требовалось доказать, оказался безнадежно бабским: бабы тульские, бабы рязанские, смоленские, бабы из Брянска, Якутска, Норильска... даже с Сахалина была баба. И кто-то действительно мечтал о знаниях, но умения и навыки остальных, касаемые другой, не-книжной жизни, затмевали порцию жаждущих эфемерности чего-то высокого, чистого и светлого, а также – несказанного, синего, нежного.

СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: да не утомится Ното Читающий описанием процесса обучения на филфаке!

Итак, Аннушка поселилась в комнате с северной бабой: та баба приехала в Москву из-под Якутска. Звали ее Нинка. Вопросы литературы и филологии мало занимали ее, а то, что поступила, – так никто со свечкой на вступительных не стоял: сошло. Больше всего Нинка мечтала выйти за богатого еврея: «Я еще буду жить вот у этой звездочки!!!» – высокопарничала Северная, устремляя указательный палец левой руки с обломанным ногтем, покрытым дешевым перламутровым лаком, по направлению к кремлевской звездюлине, торчащей куда ни глянь, если сворачиваешь к библиотеке.

У Аннушки, привыкшей ошибочно считать семьей тех, с кем живешь, не было в то время особого выбора в смысле людей – или она еще об этом не подозревала; Нинкина же манера общения – грубоватая, матерно-добрая, хоть и резко контрастировала с хорошими манерами Аннушки, обожавшей набоковские головоломки во всем, все же уживалась в ее мировосприятии, не требуя особого преломления: «Мама, так есть». Нинка происходила из

семейства торгашей; ее предки меняли на бабки все, что можно было выменять на бабки. Отец за обедом наливал себе стопки три водки, мать традиционно носила с кухни горячую пищу, свешивающуюся уже через край стола – поест Мясоедовы любили, фамилию классично (Гоголь, Некрасов и др.) оправдывая.

Аннушка же, сбежавшая из дома и оказавшаяся практически без средств к выживанию в экстремальных столичных условиях (стипендия), кормилась периодически на Нинкины «северные» бабки, благодаря чему содержала себя в прекрасной худощавой форме. Кормились Нинкиным *хавчиком* по случаю и другие студенточки – Нинка сказала нежданной с точки зрения тушенки, колбасы и картошки, и все же... родительские деньги были вовсе НЕ ТЕ, которые ей хотелось бы иметь: Нинка мечтала о богатом еврее, который в одночасье решил бы все ее проблемы и прописал в третьем Риме во веки веков, аминь.

В универ Нинка ходила первый семестр исправно, но вскоре затосковала: «Ты понимаешь, жизнь проходит... – говорила она Аннушке, ковыряющей вилкой ее тушенку. – Проходит, чувствуешь?!» Аннушка, похоже, еще не чувала. А если и чувала, то нечто другое: ритм города, запах театров, куда можно сходить совсем задешево, если сидишь на галерке; чувала бело-желтую стареющую консерваторию и голубей около памятника талантливому гею, чувала обнаруженный случайно (сессия, депрессия, минус двадцать) клуб КСП во дворе на Осипенко (хотя барды уже начали раздражать ее предсказуемым нытьем о фантомах великих утопий), чувала стиль в Музее кино, воздух Третьяковки, дух Пушкинского, пыль и аромат Музея Востока, чувала огромные книжные, которых в городе N и в помине... Аннушка впитывала в себя все подряд и, как ей казалось, проживала отрезки от сессии до сессии не совсем зря, так что мучительно стыдно за бесцельно прожитые как-то так особо не было. Впрочем, всегдашняя Аннушкина тяга к удовольствиям Майи, про которую она тогда и слыхом не слыхивала, приносила и ей некоторые недетские проблемы, как-то: «контрацепция» с помощью мини-аборта на втором курсе, трихомониаз с гонореей на третьем, запятая... Однако ЭТА сугубо физиологичная жизнь, тоже имевшая право на существование, шла вторым планом – параллельно Той, что всегда была на первом.

Она много читала; почти никогда не пропускала любимых лекций по зарубежке и истории искусства. Аннушка несмотря ни на что не сроднилась еще с тем глухим цинизмом, так часто разламывающим зеленую душу на самом ее интересном месте лишь потому, что, будто бы, *все* это уже было. Вовсе нет! Аннушка играла в свою игру ДЛЯ СЕБЯ; она знала, что придет Ее Время, *и вот тогда...* из слез, из темноты... не внемля увереньям бесполезным... Барышни же, мечтавшие из грязи в князи немедленно и *без-воз-мезд-но*, вызывали в Аннушке улыбку, причем достаточно печальную, да и такие относительные в этом случае понятия как «грязь» и «князь» виделись ей несколько размытыми: что считать первым, а что – вторым? Неужто лучше продаться какому-никакому уроду (возможны варианты), вылавливая оного, как щуку в проруби или в кафе (но можно и на улице или в метро, если повезет), приговаривая мантрообразно, только без четок: «Ловись, рыбка», а потом полноправно осесть у уроды (возможны варианты) в доме под видом любящей и нежной девицы, утомленной жизнью и до одурения тянущейся к знаниям, а поэтому и оказавшейся в Москве, но в общаге. Ах, как не равна жизнь, но ведь она-то, Она-то достойна другой, лучшей Истории, она же заслуживает... и рыбку съесть, и... Нет, безусловно, она не такая, как все, она особенная; ждет трамвая она... вот только совершенно нечем заплатить за проезд – ну, если только собой, какая мелочь, от нее ведь не убудет, зато потом (всегда завтра) можно будет увидеть небо в алмазах и мир, лежащий у ее ног, т. е. – ВСЮ МОСКВУ; а как будут завидовать подруги: «Какую щуку она подцепила на свой клитор!»

Без особой периодичности Аннушка поарывала в общаговскую подушку, – да и кто не поарывал, положила – у кого что есть – на сердце, в общаговскую подушку? Очень тошно Аннушке приходилось временами, но так, как ОНИ – бабы тульские, рязанские, смолен-

ские или северные, она не могла, а если и *чуть-чуть* могла – то лишь по какой-то стадной ошибке или от безысходности, а скорее, от бездыханное™. Как-то раз она устало сказала Нинке, будто считает ниже своего достоинства сидеть в баре и «цеплять разнокалиберных щук, способных решить ее многочисленные мат/жил проблемз». Нинка ни с того ни с сего окрысилась: «Ты, значит, считаешь, НИЖЕ. А мы все, значит, тогда кто? Мы-то не считаем, что НИЖЕ! – она казалась задетой за живое. – Ну, ты сказала, блин... Ниже... Ты-то сама из себя что представляешь? Подумаешь, Набокова она читает! Этот Набоков тебя в Москве пропишет, да? Читай – читай. Папа с мамой научили? Умница!»

В универе Аннушку в общем-то любили, но если и не считали за белую ворону, то за черную не принимали также. Скорее, в ней видели крашеную, чужую среди своих. Аннушка не стремилась специально выделяться из среды однокурсниц, как это часто произвольно случалось у провинциальных барышень или произвольно – у мампаповских столичных штучек, через одну замурованных в золотое, и напоминающих от этого обилия блесток довольно безвкусное елочное украшение. Инакость произрастала у Аннушки изнутри, сама собою, как «люблю» – любимому, и Нинка, связавшаяся тем временем с «черным человеком», торговавшим фруктами на Черемушкинском рынке, доставала ее: «Интеллигентка бесплатная! Я вот пойду щас к Саидову, он мне денег даст. И фруктов. И шампанского купит. А тебе кто денег даст? Ты чьи фрукты жрать будешь? Набокова?»

Аннушку впервые в жизни попрекнули куском. Это она-то – ОНА, КОТОРАЯ... – это был легкий шок. Аннушка наша долго шла по Москве, кусая и без того обветренные губы; было очень холодно, но Аннушка этого не замечала. Снег падал на и сквозь нее, впрочем, очень нежно; но, несмотря даже на этот нежный снег, совершенно некуда было деться – да и куда можно деться в двадцать лет в таком родном и одновременно в таком чужом многомиллионном пространстве – особенно когда живешь в общаге, смысл совершаемых действий не очень ясен, а стипендия у тебя с гульки уй?

Все в одночасье осточертело Аннушке: театры, музеи, книжные магазины и бутики, куда она иногда заглядывала, чтобы подсмотреть новый фасон. Осточертел позеленевший Пушкин на Пушкинской, Есенин на Тверском, Репин на Болотной, Тургенев на Тургеневской, а Ахматовой на Третьяковке тогда еще не было... Осточертели эскалаторы, люди, «леди», оптовые рынки с продуктами *подешевле*, универ с вечными зачетами и панковским трепом в курилке, за которым не стояло ничего, кроме самого трепа... Осточертела анаша, которую приносила от Саидова Нинка, и от которой по обкурке ехала не в том направлении крыша, а с утра был «сушняк» похлеще, чем от водки... – впрочем, водка тоже надоела.

Совершенно замерзшая, вернулась Аннушка в общагу да встала с сигаретой у окошка: случилась пятница, тринадцатое. Благоразумно не колдуя, Аннушка решила ехать на историческую родину – в город N; она еще не знала зачем...

Новый абзац.

...А город N заносило снегом; а места этого и в помине не было в «Городе N» у Майка! Аннушка, сошедшая с электрички, огляделась: все в округе как будто уменьшилось, съежилось, захлебнулось самим собой – или это оттого, что метель? Аннушка перекинула джинсовый рюкзак с одного плеча на другой и побрела к засыпанным белым трамвайным путям. Трамвай не приезжал долго, и масло на рельсы Аннушка не лила. Всю дорогу дышала она на замерзшие пальцы и терла ладонью о ладонь, а через пятнадцать минут уже звонила в ту самую дверь, за которой прошло ее удивленное детство и начало неопределенной по настроению юности. Открыл Виталька, повзрослевший и похудевший: *Привет. – Привет. Тетка Женька умерла.*

Аннушка оперлась о стену и сползла вниз; в коридор вышли родители – мамо, кашляющая, совершенно разбитая, как будто постаревшая, и папо с вечной папирсой: «Вчера».

В голове Аннушки мгновенно пронеслось: вот тетка Женька в красивом цветастом платке напевает «Эти глаза напротив», а на столе – бутылка с ее любимой сливовой настойкой; вот тетка Женька с собакой Виттой срезает с грядки разноцветные астры; вот тетка Женька, выносящая Аннушке несколько красноватых бумажек с портретами виленина, на которые можно купить билет из города N и просуществовать в City месяц, а вот... Аннушка позвонила Гертруде, и после похорон вернулась с ней же в Москву, чем вызвала невысказанное недоумение родителей, даже не сообщивших ей о смерти любимой тетки: «А чего ты вообще приезжала-то?» – промолчали они так, и Аннушка поняла, что домой больше не вернется.

...Но что-то нужно было делать. «Kann er was?»¹ – спрашивал когда-то Шуберт, сидящий за кружкой пива в «Венгерской короне», про каждого входящего в заведение, за что и был прозван Каневасом. «ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ?» – спрашивала себя Аннушка, ставящая тринадцатый раз одну и ту же кассету с экспромтами и «Лесным царем». За шкирку вытягиваться, за ресницы – как угодно. Кроме собственного мозга, ничего себе симпатичного рыльца в пушку да без пяти минут «дипломированного специалиста» – ее самой – у нее ни фи́га не было.

СОМНЕНИЕ РЕДАКТОРА: если это слово обозначает не фиговое дерево или его плод, то оно имеет разговорный или даже грубый характер. А слово это как раз и обозначает не дерево и не плод... М-да... Вычеркнуть или оставить? Вообще, у нас не принято...

Вернувшись в общагу после похорон (при выносе гроб с теткой Женькой едва не переворачивают, задев об узкую стену подъезда, мерзлую землю на кладбище роют экскаватором. Гертруда рыдает, и слезы на ее щеках, замерзая, звенят), Аннушка попала на пьянку, регулярно практиковавшуюся в их комнате. «КТО СКАЧЕТ, КТО МЧИТСЯ ПОД ХЛАДНОЮ МГЛОЙ?» – беспрерывно пульсирующая триолями музыка Шуберта стучала у Аннушки в висках, заглушая голоса. – ЕЗДОК ЗАПОЗДАЛЫЙ, С НИМ СЫН МОЛОДОЙ...» Она встала около двери, расстегнув неновую шубу из давно почившего крашеного козла, поставила на пол сумку и тоскливо оперлась о косяк. Люди Аннушкино явление заметили не сразу, и та довольно долго разглядывала их будто со стороны, словно увидев впервые пьяные и в общем-то чем-то красивые лица, искаженные, как оспой, похотью. Аннушка подглядела в ту секунду нечто большее, чем просто можно было подглядеть, стоя вот так: оперевшись о косяк двери, расстегнув неновую шубу из давно почившего крашеного козла. «К ОТЦУ, ВЕСЬ ИЗДРОГНУВ, МАЛЮТКА ПРИНИК; – что ты можешь? – ОБНЯВ, ЕГО ДЕРЖИТ И ГРЕЕТ СТАРИК...» Впрочем, это удивительное состояние, когда ты «просвечиваешь» одушевленные предметы, как флюорография просвечивает пораженные легкие, и продолжалось-то долю секунды: именно эту долю Аннушка запомнит на всю катушку.

Бабы тульские, смоленские, рязанские, etc, жрали белую горькую жидкость. С ними жрал ее и любовник Одной Из – Сергей, служивший когда-то в Афгане, а потом в Чечне. Пыльным ветром унесло того когда-то из снежной Москвы в другой климат на заработки и острые ощущения.

СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: далее всевозможные комментарии, не имеющие прямого отношения к сюжету, будут лишь утяжелять текст, хотя их число и сократится. Пока же автор ничего не может с этим поделать.

Одна Из спала с ним, без особого, впрочем, желания, за что Сергей покупал ей сумки, сапоги и прочую дребедень на дешевом Лужниковском рынке.

¹ Что он может? (нем.)

Сергей всегда приносил с собой еду и питье, на которые так часто не хватало иногородним студенточкам, приехавшим изучать всевозможные филологические «ню» в полном столичном объеме. Иногда взгляд Сергея делался будто бы стеклянным, и Аннушка в такие моменты в глаза его смотреть не то что боялась – не хотела. Тогда-то этот человек и пел на афганском – всегда одно и то же. Мелодия песни той была заунывна, а слова неясны и оттого казались сказочными:

Мароби бо,
Баройе ойхерим бор,
Гузаштахор, гузаштахор,
Дарджо мани ту джое сарнавейс,
Ла-да-да-да...

Так пел Сергей, и так подпевала ему Аннушка, как подпевала когда-то одному богатынькому мальчику Гене, по-настоящему – Гдалию, также приходившему к Одной Из. Но Одна Из встречалась с ним не за вещи, а за рубли, хотя Гена, как и все прочие, приходил в общагу с едой и питьем. Пели Аннушка с Геней каноном, вызывая смутные улыбки присутствующих, цепляя все и вся тоскливой еврейской мелодией и снова – непонятными, а оттого как будто сказочными, – словами:

Шалом хаверим, шалом хаверим,
Шалом, шалом.
Ае итрайот, ле итрайот,
Шалом, шалом.

Аннушка выпила в вечер приезда из провинции немерено и легла спать в грязной прокуренной комнате № 127 с намерением изменить свою жизнь во что бы то ни стало; слава какому-нибудь богу, ей не приходило в голову изменить мир. Как в тумане, проплывали перед Аннушкой прям-таки лубочные картинки ее столичного быта, к которому она когда-то так рвалась: прохладный ученостью универ; читалка, где подолгу просиживала Аннушка за толстенными томами чьих-то классических слов и смыслов, чаще всего не зная, зачем и понадобятся ли ей эти слова и смыслы так явно, чтобы истратить на них пять молодых лет; паркетные полы и коридоры, коридоры, коридоры с толстыми дверями, вскрывающими вены высоких аудиторий; галерка, где можно легко задремать в случае бессонной ночи; разнокалиберный веселый или замороченный студенческий люд, деловитые педагогины в серых и черных юбках, преимущественно очкасто-одинаковые; седые профессора, поглядывающие на студенток; студенты, поглядывающие на студенток с тем же профессорским порохом, но с большим пофигизмом по случаю молодости; булки с изюмом из буфета; улицы узкие и широкие, уже подкрашенные Лужковым и еще не подкрашенные Лужковым; архитектура башенная и безбашенная; бульвары и площади, незабываемые тихие переулочки, скверы и парки, по которым так часто бродила Аннушка, чтобы только побыть одной и не возвращаться слишком рано в общажную клоаку; магазины – книжные и не совсем, театры – большие и малые, академические и не очень; кафешки, закусочные, запивочные; больницы – приличные и не; музеи с их бахилами, галереи с их странными, будоражащими воображение растворениями; киношки с периодичностью до хаоса; мужчинки, видевшие в Аннушке и ей бес-подобных прежде всего молодую породистую кобылку, на которой неплохо было бы проехаться при случае; женщины в чем-то дорогом и странном, садящиеся в уютные иномарки; гостиницы, отели и сутенеры, которых минует Аннушка; ночные клубы, где пиво

стоит всю Аннушкину стипендию; и вот уже слабо маячит, стоит над душой вместо решения проблем диплом, который неизвестно когда еще нужно было начать...

И вот на этом самом месте героиня спотыкается об автора-мужчину, бесцеремонно разлегшегося на страницах ей посвященного текста. «Какая наглость!» – думает героиня, не имея права голоса. Вместо нее голос подает автор-мужчина, напоминая, что давно-де не было в сюжете Игры. Умолкнув на минуту, он умничает и начинает цитировать: «Художественное произведение, раз созданное, отрывается от своего создателя; оно не существует без читателя; оно есть только возможность, которую осуществляет читатель». И так далее – до тех самых пор, пока ТЕНЬ г-на НАБОКОВА не затыкает ему рот. Женщина-автор, не оглядываясь на корректно дышащего в спину редактора, грустно усмехается: «Плевать мне на художественное произведение, пусть даже и от кутюр! Дело-то в том, пис-сатель, что героиня наша ненавидит, сорри за оскомину, банальность. Она счастлива ровно настолько, чтобы считать себя чуть-чуть несчастной. ОНА СЧАСТЛИВА РОВНО НАСТОЛЬКО, ЧТОБЫ СЧИТАТЬ СЕБЯ ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕСЧАСТНОЙ! Ведь Аннушка странным образом пытается компенсировать отсутствие Любви, получая вместо последней другое-третье тело, сырое мясо, ну, или, скажем, не очень прожаренное. Оно скрипит у девчонки на зубах, пачкает рот и пальцы... Она просто не задумывается пока о столовых приборах и кастрюлях, в которых удобно готовить любовь. ОНА ПРОСТО НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ ПОКА О СТОЛОВЫХ ПРИБОРАХ И КАСТРЮЛЯХ, В КОТОРЫХ УДОБНО готовить ЛЮБОВЬ. Чтобы не испачкаться.

– А как же быть с напряжением-торможением? Все-таки процесс! – говорит ни к City ни к Ибинеvu автор-мужчина.

Суфлеры сконфуженно разводят руками. Им нечего и нечем подсказывать. В сущности, все они – плод чьего-то большого воображения.

Новый абзац.

Аннушка, морщась от спертого воздуха грязной прокуренной комнаты № 127, вспоминает: Черемушкинский рынок, конец первого курса. Нинка берет у Саидова коробок, чтобы покурить в общаге. Аннушке *никак*, ей сбежать хочется с этого рынка и от этого коробка, но Нинка толкает ее в бок: «Ну чего ты, чего паришься... Вон, Славик как на тебя смотрит, давно уже... Поезжай с ним, развеешься... Он потом и фруктов купит...» Аннушка пропускает мимо ушей *фрукты* и тянет нервно косячок. Постепенно жизнь приобретает иные оттенки; хочется смеяться и плакать одновременно. Нинка снова толкает в бок: «Ну чего ты паришься... А потом фруктов купит...» *ФРУКТОВ; ФРУКТОВ, ФРУКТОВ...* В голове у Аннушки пусто, летом Аннушке жарко, тошно, грядут полтора месяца провинциальной тоски на каникулах, а как туда теперь ехать, в провинцию? *У Ж АС-УЖ АС-УЖ АС, ФРУКТЫ-ФРУКТЫ-ФРУКТЫ, ДА НЕ ПАРЬСЯ – ДА ТЫ НЕ ПАРЬСЯ – ДАЧЕ С ТОБОЙ, ДА ЧЕ ТЫ ПАРИШЬСЯ...*

Аннушка смотрит какое-то время в небо, на котором ни облачка, и также безоблачно подходит к Славику. Тот видит в ней лишь то, что способен увидеть: ноги. Он берет сумку, в сумку ставит шампанское, и – фрукты, фрукты! – подавиться можно этими всеми фруктами: персиками, абрикосами, виноградом, вишней, яблоками красными и яблоками зелеными, хурмой, бананами... Дыней тоже подавиться. Славик прогибается под тяжестью сумок и передает одну из, что полегче, Аннушке, а потом ловит тачку. Тачка долго и упорно едет к Ботаническому – в заштатный доремонтный «Турист»; вот только Славик никак почему-то не может найти ключ от номера. «Постой-ка тут, красавица», – и исчезает на чудное мгновение в коридорах, покрытых красными коврами дорожками «Сделано в СССР». И в этот самый момент с Аннушкой снова случается «приступ просвечивания», так похожий на «приступ флюорографии», обнажающий черноту чужих легких. Видится ей некто из экс-воз-

любленных, причем видится так явно, что Аннушку дрожь берет и озноб пробивает: в до боли знакомой футболке стоит ее всегда-женатый – никогда-не-разведенный Экс, самый-когда-то-самый, на эсэсэровской дорожке, и говорит так тихо и грустно: «Ребенок, уходи». Аннушка сначала впадает в столбняк, а потом со всех ног припускает вниз по лестнице. Славик кричит вслед *куда ты удалилась...* но Аннушка бежит еще быстрее, пятки ее сверкают, и на лестнице она теряет туфельку – без пяти минут Золушка, а еще – бесприданница; башмачок хоть и не хрустальный, но все же жаль – да и непривычно по Москве-то в одном на левой, вот бы сейчас самокат для удобства; да только от Славика сбежать важнее: даром что не принц.

Аннушка выбегает из «Туриста», бросает туфельку на дороге и чешет босиком по асфальту до ближайшего обувного, где под подскочившие брови продавщиц покупает дешевые босоножки и, произвольно заканчивая действие анаши, едет в сторону, противоположную Ботаническому саду...

СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: вопрос об архитектурно-композиционном построении произведения остается открытым. Звуки данного текста (материализация букв) не могут быть исполнены без фальши в современном темперированном строе.

Аннушка лежит в грязной прокуренной комнате № 127 и вспоминает: вот они с Нинкой в дешевом кафе. Вот они тянут-потягивают красное, пропуская лекции. Нинка говорит, что хочет мужика; и не в том смысле даже, что «желателен еврей», а просто хочет мужика. Студенты их фака ей не подходят – что взять со студентов? Аннушка тоже периодически чего-то хочет, но предпочитает о том молчать, а если и говорит, то лишь в определенные моменты и не абстрактно. Нинка предлагает кого-нибудь «снять». Аннушка отмахивается. Нинка предлагает снова; Аннушка снова отмахивается. В этот момент за столик подсаживаются два типа. Один – с бородой и нехорошими глазами – представляется психиатром; второй – без бороды и тоже с нехорошими глазами – не представляется никак, в особенности Аннушке. Они покупают еще вина и предлагают развлечься; Аннушка не соглашается и сваливает, а Нинка скользит наутро в общагу и судорожно отворачивается. Да на Нинке живого места нет, ба-атюшки! Сначала поехали просто, потом – сложно. В гостях гостили четверо только что после амнистии, моментально разглядевших в Нинке сладкого зайчика, которого можно использовать при случае. Случай оказался подходящим.

СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: далее автор предлагает ввести в текст многоточие. Например, так:

«Вместе весело шагать по просторам», – разрывалось радио. *СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ: многоточия не отражают сути.*

Рот Нинке заткнули так, что она чуть не задохнулась, потому как нос зажали пропахшей потом подушкой. Драли ее как козу – безжалостно и без вазелина; чуть живая, порванная сзади и спереди, странным образом не убитая, добралась она до общаги, где Аннушка гладила ее по голове, плакала и говорила, что все будет хорошо: ее *обязательно вылечат...*

Аннушка, лежа в прокуренной грязной комнате № 127, вспоминает: Нинка, корчащаяся после третьего аборта, едет в гостиницу, где проживает Саидов, и зовет с собой Аннушку. У Аннушки другие планы – Аннушка собралась вечером на бунюэлевскую «Дневную красавицу» с еще молодой Катрин Денев, но Нинка очень-очень просит, она по-еде аборта. Нинке весьма хреново, но она любит Саидова. Саидову весьма классно – он уже подсел на героин, но тоже, как может, любит *свою русскую*. В общем, всё в лучших традициях мыльных опер,

только без happy end'а. Нинке не хочется ехать одной в гостиницу, она упрасивает Аннушку все жалобнее, и та, по просьбам трудящихся, соглашается. Девицы ловят тачку и вскорости подъезжают к Ботаническому; администраторша, брезгливо косясь, предупреждает их, что посещения ограничены двадцатью тремя ноль-ноль. Тем временем в номере Саидова – дым коромыслом. Тем временем в номере Саидова – целая толпа каких-то людей с травкой. Аннушке немного страшно, ей здесь не нравится. И зачем она только послушалась Нинку, мало ей своих забот, что ли? А теперь вот весь вечер придется строить из себя черт знает что... Разговаривать с *этими* Аннушке не о чем – может, какие-то бывают и *другие*, да только *других* она редко видела. И вот, словно повинность, отбывает Аннушка снежный долгоиграющий вечер в дешевом номере с обоями никакого цвета, где *эти* поглядывают на нее будто на неведому зверушку. Аннушка, грамотно (как учили!) втягивая с воздухом косяк, мечтает поскорее отсюда убратся. Нинка же после определенных событий никак не хочет оставаться ОДНОЙ среди такого количества чужих и снова упрасивает Аннушку: «Да останься, ну чего ты... Спать будешь отдельно, на другой кровати, сейчас все уйдут, Саидов за нас теткам снизу заплатит... Оставайся, короче...»

О ту пору Аннушка еще лишь училась прекрасному умению отказывать – наука тонкая любви к Себе Самой едва постигалась ею, но, надо сказать, шла Аннушка в этом направлении семимильными. Однако в тот вечер она будто бы прогнулась подо что-то чужеродное, совершенно ей не нужное: то ли оттого, что не хотелось снова в общагу, то ли из-за глупой солидарности с Нинкой, а может, просто из-за энного количества выкуренной шмали...

Впрочем, спала Аннушка действительно отдельно; когда же последний перед оргазмом Нинкин с Саидовым вздох исчез в темноте, в дверь постучали. Посетителем, прослышавшим про бесплатный дырчатый сыр, находящийся по соседству, оказался знакомый Саидова – некий Виктор, сославшийся на отсутствие свободных койкомест в других номерах. Когда же тот целенаправленно подошел к Аннушкиной постели и безапелляционно лег рядом, Аннушка выскользнула змейкой и, схватив в прихожей две шубы – лисью Нинкину, новую, и свою, второй свежести, из давно почившего крашеного козла, – заперлась в ванной, в белую посудину которой и сложила шубы, а затем, подоткнув кран полотенцем, чтоб тот не капал, пыталась на шубах спать...

Проснувшись она под утро от холода и страха: Есенин, всю ночь просидевший напротив нее, Аннушки, читал ей своего «Черного человека». *«Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль»*, – повторяла она еще долго как безумная. *«Да тебя глюкануло просто, – скажет ей потом Нинка. – План-то крутой был, даже Саидова вон как торкнуло!»* – *«То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ль, как рошу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь»*.

Новый абзац.

Аннушка лежит в темноте грязной прокуренной комнаты № 127: она вспоминает и вспоминает, вспоминает и вспоминает, и от воспоминаний этих делается ей нехорошо, и мозги ее, действительно будто рошу в сентябрь, «осыпает алкоголь». Аннушка отмахивается от поэта, чей домик в Константинове запомнился ей по большей части неинтересной экскурсией, а окрестности села – медовухой в ресторанчике для туристов. Поэт, что очень и очень болен, молча уходит. И все же Аннушке нашей не суждено остаться со своими мыслями; ей *негде* остаться с ними, и автору, кто бы он(а) ни был(а), действительно жаль...

Вот Верка с Ленкой заваливаются вечером в общагу после двухдневного отсутствия, в подробностях рассказывая про интерьер кафе-бара, а также про сантиметры и особые приметы новых знакомых, имевших их три с половиной часа спустя на параллельных кроватях, находящихся в одной комнате. «Мы же христиане, – повторял человек, расстегивающий Верке джинсы. – Вот и станем с тобой едина плоть!»

«Мы же христиане!» – так же многозначительно кивал Степан Степаныч подвыпившей Катерине, неожиданно легко подцепленной им в метро. Через пятнадцать минут они уже пили шампанское в открытом кафе на Лубянке, и Степан Степаныч звал ее для продолжения банкета на Лосиный остров. Катерина, немного «товокнутая» подруга Аннушки, пребывала по поводу неудачно выбранного факультета, отсутствия смысла и проч. в постоянном сплину, поэтому развезься на Лосином острове согласилась как бы не по дурости, но от тоски – кто же знал, что после Лося станет еще хуже? Сначала Степан Степаныч позвонил жене и предупредил, что едет по делам; потом еще долго разговаривал с кем-то на английском по мобильному; еще «потом» – ловил машину. В доме отдыха Степан Степаныч накормил Катерину острыми салатами и хорошо прожаренным мясом, влил в нее бутылку вина, а в номере кое-что заставил. Катерине казалось, что ее вытошнит, но тошнота лишь обманчиво подступала к горлу, не находя себе выхода. Степан Степаныч же не отпускал – поди, сбейся с ритма! «Раз-два», «раз-два» – Катерина задыхалась, злые слезы текли у нее из глаз. Как ругала она себя за то, что поехала, как ругала! Но до того не было никакого дела дорвавшемуся Степану Степанычу: «Давай, давай, соси!» – «Лучше трахни, не могу больше...» – «Мы же христиане, надо по-христиански друг с другом! Соси. Я так хочу. Соси спокойно, сука. Ты для чего приехала? Для чего нужна, чтобы болтать, что ли? – методично объяснял ей правильное позиционирование Степан Степаныч. – Сосать приехала. Я так хочу. Давай, не отвлекайся, давай, соси уже, я сказал».

Катерина приехала в общагу, прополоскала рот шампунем – ой, купало, купало! – и сменила ориентацию.

«Мы же христиане!» – важно заявлял Аркадий Татьяне, жившей с Аннушкой и Катериной в одной комнате. В тот день Татьяна спокойно ела в пиццерии свою пиццу и ни о чем *таком* не помышляла. Аркадий подсел к ней за столик, начав что-то рассказывать о съемках нового фильма. Конечно, Татьяна воплощала тот самый дивный образ, который он так давно искал и не мог найти, и вот... О ней узнают, ее имя будет... Татьяна вроде и не поверила, но на киностудию все же поехала, чтобы снять пробы. Пробы оказались еще те: «Мы же христиане! – приговаривал Аркадий, подливая коньяк. – Можем всегда договориться»; Татьяна не особо упорствовала, думая о *кино*. Потом подоспел его помощник – оператор по прозвищу дядя Ваня. «Лутшэ давай па-харошэму сдэлаэм, – советовал дядя Ваня. – Всэгда лутшэ па харошэму дагаваритца. Чэхова читаль?» Впрочем, Татьяне не составляло особого труда переспать и с двумя, только по собственному, скажем так, желанию. Тут же выбирать не приходилось: *кино!* «Нравитца – нэ нравитца – давай, моя красавица!» – гоготал оператор дядя Ваня, трясая жиром, свисающим с волосатой груди. Потом Татьяна встречалась с дядей Ваней за бабки и была, по слухам, довольна ценой (как и ценой Аркадия, который часто сидел где-нибудь в углу и смотрел на все это за отдельную плату): кино и немцы, дид Ладо!

АНОНИМ: stop! А где же тот самый пресловутый диалог автора с самим собой?! Ведь ради этого диалога, собственно, все и пишется! Ведь это же гипертекст, он не может ТАК видоизмениться! Я протестую! Где Соло Реанимационной Машины, где вся эта куча суфлеров, где редактор, Сломанная Пишущая Машинка, наконец? Таланта не хватило Игру продолжить? Ты относишься к тексту не слишком серьезно. Так нельзя! Сделай что-нибудь!

ИНКОГНИТО: кто здесь?

Аннушка вспоминает и вспоминает, вспоминает и вспоминает; ее тошнит от этих воспоминаний, тошнит и от сперттого воздуха грязной прокуренной комнаты № 127, где стены давно должны были бы покраснеть от рассказов обитателей. Теперь Аннушка представляет Сэлмана. Они познакомились давным-давно, на первом еще курсе, когда бесцельно слоня-

лись с Катериной по центру города. «Do you speak English? What is your name?» Аннушка сказала, что speak, но так себе; Сэлман не отставал: «Макдоналдс or restaraunt?» Рядом как назло оказался «Айван-Баку»: выбрали второе.

...Вошли. Хостес скользнул дежурной улыбочкой по Аннушкиной шубке из давно почившего крашеного козла, а гардеробщик тихонько ухмыльнулся. Аннушка заметила, что шмотье в гардеробе висит исключительно противоположное их шмотью с Катериной – шубки и манто все больше норковые да каракулевые, пальто из дорогих тканей, дубленки из нежной, идеально выделанной, светлой кожи...

Наверху, после общаги особенно, все показалось ослепительным, хотя едва ли Аннушка подумала бы так уже через год; сверкающие столовые приборы, белоснежная скатерть, не перестающий улыбаться официант...

ОТ КУТЮР. ТЕНЬ г-на НАБОКОВА: «Наши персонажи могли бы усесться на самую середину качельной доски и только мотать головой направо и налево. Вот была бы потеха»!

Сэлман, при более детальном разговоре на пальцах и обломках английского, оказывается пакистанцем. Он в Москве уже месяц, да, он хочет учить русский, очень хочет, но ему пока сложно, русский ведь такой сложный, правда, Аннушка, какое красивое имя – Аннушка, а как зовут подругу, Катерина, это все равно что Катюша? да, это все равно что Катюша, Сэлман; а где ты живешь? в общежитии, Авиамоторная, знаешь?

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА НА ПОЛЯХ: предложение перегружено знаками препинания, лучше разбить его на два. Далее следует бранное слово, употребление которого... Тьфу! (Редактор откладывает карандаш и смотрит в окно: хлопья снега скрывают от него буквы.)

Еще у меня в Москве дядя с женой, у них квартира на метро «Южная», знаешь? А где живут твои родители, Аннушка? В городе N. Город N – это такая провинция, да? Да, город N – это такая провинция, это такая большая среднерусская жопа, Сэлман. Что, что? Жопа? Что такое среднерусская жопа, я не понимаю все как есть по-русски, русский язык такой сложный...

Через некоторое время Сэлман поймет, что такое «среднерусская жопа», а великий и могучий не покажется ему таким сложным, как прежде. Но перед тем как Сэлман в полный рост ощутит лексическое и грамматическое значение пятой точки, танцовщица подойдет к нему и намекнет на бабки за весьма скромненький стриптиз; Сэлман протянет ей совсем крохотную сумму в виде смятой русской купюры, и Аннушка заметит, как поползут вверх выщипанные бровки не очень красивой стриптизерши.

Официант приносит мороженое, потом кофе. Катерина просит Аннушку, чтобы та спросила Сэлмана про деньги. «It's okay!» – улыбается Сэлман, безумно счастливый оттого, что видит в Аннушке будущего «товарища по постели». Официант приносит счет: много-много русских рублей, на которые можно безбедно прожить целый месяц в третьем Риме. Но Сэлман – пакистанец. Сэлман не знаком еще с ценами в московских ресторанах новорусского пошиба; Сэлман озирается, непонимающе смотрит на цифры счета: нули пугают Сэлмана. Аннушка переводит на английский; Аннушка быстро соображает, что E2-E4 – уже никак, и надо было слушаться Катерину, мечтавшую сбежать из ресторана, лишь завидев мятую купюру, поданную Сэлманом стриптизерше.

Очень стыдно перед официантом; вообще очень стыдно. Сначала – за шубу из давно почившего крашеного козла и за Катеринин какой-то в тот вечер «никакой» прикид. Потом

стыдно за скверный английский, за которым – через раз – в карман. Еще стыднее за отсутствие денег. Жутко стыдно ловить сожалеющий взгляд молодой официантки.

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА НА ПОЛЯХ: ошибка в управлении. Глагол «сожалеть» требует дополнения в предложном падеже с предлогом «о» – например, «Сожалею о потраченном времени» (редактор окидывает взглядом кабинет, от пола до потолка заваленный чужими рукописями, и вздыхает: когда-то у него самого вышло два сборника неплохих стихов).

За взгляды быстренько подошедших администраторов, мэтра и управляющего – стыдно; стыдно вытряхивать из кошелька последние деньги в 11 ночи, вынимать из ушей и снимать с пальцев единственные золотые украшения (эти украшения берут в залог, с тем чтобы завтра троица могла оплатить счет). Тем временем Сэлман клянется на всех известных ему языках мира, кроме русского, раздобыть бабки. Тем временем бармен – «Меня, знаешь, зовут Геннадий...» – предлагает Аннушке с Катериной поехать к нему, и тогда – «Проблем нет! Особенно, если вдвоем сделаете...» Аннушка, усмехаясь, – ле-ли, ле-ли Лель! – цитирует ему Александру Михайловну Коллонтай, урожденную Домонтович (1872–1952): «Секс возможен только между товарищами по партии. Всякий иной секс аморален!», вводя бармена в полное замешательство: тот и слыхом не слыхивал о первой в мире даме-«послихе».

В первом часу троица выходит из «Ливана-Баку». Совершенно раздавленные, плетутся любители сладкой жизни к метро (на днях Аннушка посмотрела «Сладкую жизнь» Феллини в «Иллюзионе»), вспоминая про свиное рыло с калашным рядом – да только Аннушке «свинным рылом» кажется не собственное и не Катерино, и даже не пакистанское «рыло» Сэдмана, а Рыло самого ресторона и стайки похотливых мужчинок.

Утром девчонки занимают энное количество долларов и возвращают залог; Сэлман, как ни странно, тоже привозит деньги... и розу для Аннушки.

Аннушка, впрочем, подарка не оценивает и от Пакистана во веки веков отрешивается: сказано – сделано.

Который уж год лежит Аннушка в темноте грязной прокуренной комнаты № 127, смотрит в потолок и ухмыляется. Потом морщит лоб, потом опять ухмыляется. На ум приходит красивая фраза «янтарная крыса сезона дождей», но Аннушка не знает, что с ней делать – она же не является автором! Аннушка вспоминает, вспоминает, вспоминает; ей хочется сбежать от собственных мыслей, оторвать им голову, ноги, хвост, выбросить в форточку, раздавить бессмысленно и беспощадно их бунт – такой же бессмысленный и беспощадный! Не получается.

Перед глазами маячит контур спаренной двухкомнатной хрущобы. В хрущобе живет бабка; бабка сдает Аннушке комнату по средней цене. Комната тоже средняя, к тому же проходная. Бабка ложится спать в девять вечера, и Аннушка *проходит* «к себе» в одиннадцать под неровный ее храп. Бабка встает в восемь и гремит всем, чем только можно греметь в восемь; Аннушка *проходит* в ванную, в кухню, в коридор. Аннушка слушает бабкины разговоры о дороговизне (в шкафах бабки – закрома родины), о том, какая маленькая у нее пенсия (холодильник бабки ломится от продуктов), о том, какая она больная (на бабке можно пахать). Бабка просит деньги вперед, это нормально. Бабка намертво убивает в Аннушке желание еще когда-либо снимать комнаты: «Я тебя научу, как начищать ванну до белизны!» – «Кастрюли должны стоять на верхней полочке, а сковородки на нижней!» – «Никаких посторонних звонков вечером!» Через пару месяцев Аннушка раздосадованно возвращается в чужеродные, зато бесплатные пенаты, где ванны нет по определению, а только душ, и начищать тот никому в голову не приходит. Прожив в обще энное количество недель, Аннушка

снова собирает чемоданы, и линяет к подруге в Солнцево. Сашка снимает в удаленном от жизни микрорайоне крохотную однокомнатную квартирку. По ночам они говорят об искусстве и слушают Веронику Долину, но в конце концов к Сашке переезжает ее парень, и... вот, вот, вот снова – ОНО! Вот она, Москва без блага, без страха и упрека, таинственная и неповторимая, манящая и сумасшедшая, бесцеремонная и неровная!

Аннушка злится сама на себя; она знает: что-то чудесное должно случиться с ней – только вот *что и когда?* Выбрасывая плохие мысли в форточку, она засыпает в грязной прокуренной комнате № 127 с намерением изменить ситуацию.

А еще ей постоянно снится крыса – всегда одна и та же; та замурована в янтаре сродни древнему растению или насекомому. И почему-то Аннушке от этого всего неизлечимо тепло: джинн, выпущенный наружу, не вернется в бутылку!

Новый абзац.

НЕОЖИДАННЫЙ МОНОЛОГ СЛОМАННОЙ ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ: все мои детали соединены чисто механически. Всего их около двух тысяч, да-да, поверьте, это вовсе не мало! В мою, извините за натурализм, заднюю часть заправляют лист, а затем поворачивают рычаг валика. Потом, когда нажимают на мою клавишу, я делаю чисто механическое усилие (оно передается через тот же рычаг) и поднимаю нужную букву шрифта – что-то общее с фортепианным звукоизвлечением, вы не находите? Ведь у фортепиано тоже «ударная» природа, сам Ферручо Бузони – хотя, кто сейчас помнит Ферручо Бузони! – говорил об этом... И опять же – молоточки; у меня почти так же! Да мы с роялем, несмотря на определенное ремесленничество, можем очень много – я имею в виду результат нашей РАБОТЫ. Да-да, очень много! Вот если бы Андерсен написал об этом в свое время – какая красивая и грустная получилась бы сказка! Где-то я слышала, будто есть такая необычная музыка под названием «Концерт для пишущей машинки с оркестром»... Мне так хотелось бы солировать в нем! Мечты... На конце каждого моего рычажка есть припаянная маленькая металлическая буковка в зеркальном положении. Буковка ударяет по ленте – так на бумаге остается ее оттиск... Впрочем, кому это теперь нужно? Пыль смахнуть некому: как в 1919-м Хозяйка в Париж сбежала, так и лежу до сих пор на чердаке...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.